

Сергей Шевцов

ЯЗЫК КАК ОБНАРУЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Сращение философии XX века с лингвистикой вполне может служить указанием на приближающееся бессилие традиционных форм языкового выражения. Уже сегодня философия стремится преимущественно говорить о том, что не может быть высказано прямо, уподобляясь в этом теологии, литература же, намного опередив в этом философию, едва находит средства, чтобы говорить вообще. Создание картины мира начинает казаться невозможным. Это обстоятельство дает основания сформулировать проблему данной статьи: как возможно создание языком картины мира. Задачей работы представим поиск механизма создания картины мира. Литература, послужившая опорой для решения данной задачи, оказывается необозримой – вся литература, любой текст способен служить нам материалом или свидетельством.

Краеугольной точкой всех философий языка оказывается проблема истинности в ее ипостасях: истинность как истина, как научность, как правда... Вопрос ставится о критериях различения истинной картины и ложной (возможной / невозможной, научной / метафизической, реалистичной / вымышленной и т. д.), о необходимости «очищения» картины мира для отделения истины-действительности от заблуждений-предвзвешиваний. Разрабатывались и разрабатываются специальные техники: логический анализ языка, верификация, фальсифицируемость и др. С другой стороны, сами «метафизики» (формализм, структурализм, психоанализ, экзистенциализм и проч.) не менее озабочены методикой выявления «подлинного» из представленной (имеющейся в восприятии) картины мира. В этом плане лингвистика, психология, антропология, фольклористика или история близки общим устремлениям логических позитивистов венского кружка или им подобных. Есть близость в методике работ В. Я. Проппа, К. Леви-Стросса и историков школы «Анналов», с одной стороны, а с другой, – их всех – «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна. Ситуация, когда бихевиорист Э. Торндайк рядом с З. Фрейдом просеивает повседневность опыта ради обнаружения истинного, подлинного или значимого, неожиданно уподобляет их обоим Э. Гуссерлю; ситуация интенционального сходства или почти тождества Мориса Шлика с Карлом Ясперсом, Марка Блока с Вернером Гейзенбергом, Мартина Хайдеггера с Рудольфом Карнапом, а Владимира Проппа с Вильгельмом Райхом может вызвать головокружение. Подобное сравнение оказывается неприменимо к Канту, Гегелю или Декарту, при их столь же несомненной устремленности к истине. Их никак не отнести к создателям «методик», даже пресловутый «метод» Рене Декарта способен

вызвать лишь улыбку на губах современного методолога, свидетельствующую не об осознании превосходства (это было бы слишком уж примитивно), но о невозвратности «золотого века», когда можно было иметь дело с «реальностью», не наталкиваясь на стоящий между нею и исследователем язык. Это напоминает улыбку больного старика, вспоминающего время, когда он был здоров и дееспособен («Никогда больше нам не насладиться блаженством утренней безмятежности»).

Можно ли всерьез поставить вопрос о языке, не выходя за его пределы? Витгенштейн с остротой террора сформулировал проблему предела выразимости, границы прозрачности мира вещей для языка. И сам же отказался от мучительно найденных решений – «...моя первая книга содержит серьезные ошибки» [9, с. 78]. Попытка обнаружить мир за поверхностью языка представляется безумием, как попытка Леграна увидеть смысл в знаках на пергаменте в рассказе Э. По. Даже после расшифровки: «Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле...» Может ли это вообще что-нибудь означать, как и весь рассказ? Сказка и фантастический роман создают картину мира ничуть не хуже, чем текст ньютоновских «Начал» или учебника географии для средней школы. В мире, созданном Д. Р. Толкином, нашлось место для огромного количества «толкинистов», и не потому ли, что мир Ньютона и мир Толкина в равной степени продукты языка? Тот факт, что в одном случае мы можем предположить конгруэнтность текста реальности, а в другом – нет, ничего не меняет в самом факте возможности создания этих двух разных миров. «Реальность» предстает не более чем нашей установкой, установкой веры, опять-таки возникшей не без участия языка. Если признать реальность за миром сэра Исаака Ньютона, то как отнестись к альтернативной картине, выдвинутой Рене Декартом? Не окажется ли она рядом с миром Шахрезады? Научно или безумно звучат сегодня упреки на неточность и ненаучность перевода «1001 ночи» Галлана, открывшего этот мир европейцам? [11, с. 66–69]. Не внесет ясности заметка Борхеса о переводах и переводчиках этой книги: трудно сказать, не выдумал ли автор всех переводчиков сам, оставив от реальных людей только имена [6, с. 210–231]. Но мир Шахрезады все же есть, хотя нет даже единого арабского текста, хранящего его [11, с. 15–20]. Может ли быть создана картина мира без каких бы то ни было указаний на ее реальность? Что именно в языке создает картину мира?

При такой постановке вопроса мы попадаем в область двусмысленностей. Во-первых, «картина мира» подразумевает полагание некоего «мира» за пределами картины, то есть «объективной реальности», и картина неизбежно и сразу оказывается соотносена с этой реальностью. Это неминуемо приводит нас опять к проблеме истинности, избежать

которой нам хотелось бы. Во-вторых, «картина мира» подразумевает мир самой картины, мир выраженный, при этом сама картина предстает просто средством и отходит на второй план. Обнаружение этой двойственности почти сразу указывает и на существование третьего мира – мира субъективного представления, тесно связанного с обоими указанными мирами сразу, но не сводимого ни к одному из них. На первый взгляд, нетрудно разделить эти три мира терминологически, но трудно оказывается очертить границы этих терминов.

В самом деле, выделяя, например, мир-представление, мы тем самым невольно отбрасываем мир-реальность в область трансцендентного, как это было у Канта. К тому же все время придется оговаривать, идет ли речь о субъективном (индивидуальном) мире-представлении, или о трансцендентальном. А кроме того, еще и решать вопрос о возможности такого представления вне языка¹. Что же касается мира-картины, то он вообще оказывается «содержанием» текста, а следовательно, миром-представлением воспринимающего или воспринимающих (в том числе и автора). Здесь, конечно, возможны варианты – можно, например, полагать его своего рода идеально-объективным (вроде «третьего мира» Карла Поппера [19, с. 439]) или просто текстом. В любом случае такое превращение само потребует обоснования, особой методологии для исследования и т. д., что уведет нас от поставленной проблемы, или предложит решение ее, конституированное избранной методологией.

Пусть поэтому мир будет один. Это будет мир, представленный в речи (тексте). И никакого другого мира мы пока не предполагаем, как не проводим различия между отправителем текста и его адресатом. Это, конечно, условность, но мы ее оговорим и хотя бы временно постараемся ее придерживаться. Если мы примем такую позицию, то для нас окажется безусловным тот факт, что мир этот создан средствами языка. Этот мир может быть любым – детская страшилка («В черной-черной комнате...»), путеводитель («Город Будапешт расположен...»), статья («Для всех людей – и только для людей – язык является...»), сказка («У одного короля была дочь, которая...»), книга по философии («Все люди от природы стремятся к знанию...»), математический справочник («Математика – широкое поприще идей...»), газетная статья («Если бы еще год назад кто-то решил...») или книга воспоминаний («Это было, надо думать, весной 1920...»), но каждый раз это будет особый мир. За счет чего возникает подобный мир? Что в языке или в речи дает ему возможность возникнуть?

Ответ: сам язык – не может нас устроить. К тому же язык, как его рассматривают лингвисты после Соссюра, разделившего язык и речь [22, с. 18], – это нечто совершенно иное. Язык рассматривают как систему знаков или формальную структуру («признано, что язык необходимо

описывать как формальную структуру» [2, с. 129]). Совершенно очевидно, однако, что в создании мира, то есть по сути – коммуникации (обычно рассматриваемой как основная функция языка), участвует как системность, так и знаковость. Это видно хотя бы из того, что сами по себе знаки никакого мира не создают. Возьмем, к примеру, типологию знаков Ч. С. Пирса: знаки иконические, индексы и сигналы. Согласно Пирсу, только символические знаки способны образовывать суждения [18, с. 97]. Но при этом и они только *способны*, но взятые сами по себе, в словаре или в произвольном порядке они еще ничего не образуют. Все это неоднократно отмечалось и лингвистами, и философами – достаточно вспомнить известный пример Гуссерля *зеленый есть или* как комплекс, только претендующий по внешнему виду на то, чтобы быть выражением [13, с. 28].

Не случайно Э. Бенвенист говорит о *двойном означивании*, присущем языку. Он вскрывает два разных способа означивания, задействованных в коммуникации одновременно, называя их семиотическим и семантическим. «Семиотическим называется способ означивания, присущий языковому *знаку* и придающий ему статус целостной единицы» [2, с. 87]. Иное дело – семантический способ, он порождается речью, здесь дело не может быть сведено только к последовательности единиц, которые могли бы быть идентифицированы каждая сама по себе, напротив, единицы здесь – *слова* – появляются как разложение общего смысла как целого на отдельные элементы. «Кроме того, (это особенно важно для нас! – *С. Ш.*) семантическое означивание основано на всех референтных связях, в то время как означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой референции. (...) Тот факт, что дело касается двух разных рядов понятий, двух познавательных областей, можно подкрепить и указанием на различие в критериях, который предъявляют тот и другой способ к своим единицам. Семиотическое (знак) должно быть *узнано*, семантическое (речь) должно быть *понято*» [2, с. 88]. Еще Соссюр разделял лингвистику языка и лингвистику речи, полагая, что можно следовать либо одной, либо другой, но никак не соединяя их [22, с. 25].

Сам Бенвенист это второе направление не развивает. Он указывает лишь, что «привилегированное положение языка заключается в его свойстве осуществлять одновременно и означивание знаков и означивание высказывания» [2, с. 88]. Бенвенист также указывает, что у Соссюра проблема высказывания вызвала серьезные трудности, в итоге он отнес высказывание к «речи» («parole»), «что ничуть не помогало решению проблемы, так как вопрос именно в том и состоит, чтобы выяснить, можно ли, и если можно, то как от знака переходить к речи. В действительности мир знаков замкнут. От знаков к высказыванию нет перехода ни путем образования синтагм, ни каким-либо другим. Их разделяет непреходимая

грань. Поэтому следует признать, что в языке есть две разные области, каждая из которых для своего изучения требует отдельного аппарата понятий» [2, с. 89].

Таким образом, если следовать Бенвенисту, то нам надо для изучения того, что он назвал семантическим означиванием, исходить из смысла как из целого, затем деля его на составные элементы. Кроме того, нам нужно иметь в виду возникающую здесь проблему референции, а также создание особого аппарата понятий. Это слишком серьезная задача для разрешения ее в объеме данной статьи, но сделать несколько шагов в указанном направлении возможно. Сперва – отодвинем в сторону проблему референции, в чем нам может помочь изложение проблемы значения во втором томе «Логических исследований» Э. Гуссерля. Как известно, Гуссерль отказывается принять предложенное Фреге разделение смысла (Sinn) и значения (Bedeutung), как обозначаемого и конкретного способа его задавания [29]. Гуссерль в противовес этому выявляет феноменологический характер значения [13, с. 26–33], что в целом позволяет нам отказаться от необходимости рассматривать отношения референции как неотъемлемую часть предмета нашего исследования. Кроме того, нам может помочь сделанное П. Стросоном указание на то, что иметь референцию – характеристика не самого выражения, а его конкретного употребления [21, с. 63].

Таким образом, смысловую сторону текста (устного или письменного, художественного или научного) мы пока будем понимать как некое целое. Первое, на что в этом случае стоит обратить внимание, – в тексте это целое существует в расчленном, последовательно организованном виде, т. е. в виде синтагмы. Эта особенность и позволяет говорить о речи как о чем-то отличном от языка, так понимал это, например, Соссюр [22, с. 121–122]. Язык, в отличие от речи (взятой как смысл), прежде всего членоразделен, так как этого смысла лишен, хотя именно за счет членораздельности он участвует в смыслообразовании [2, с. 86; 12, с. 78–79]. Членораздельность как специфическое свойство языка отмечалась едва ли не всеми лингвистами [12, с. 78–80; 20, с. 226; 8, с. 236; 23, с. 30–32]. При этом следует отличать членораздельность самого языка от членораздельности речи – в речи, к примеру, мельчайшей единицей будет предложение (так считал Бенвенист [2, с. 138–140]), но мы можем допустить в качестве такой единицы пусть даже слово – просто для наглядности, а мельчайшими единицами языка, как указал Якобсон, будут различительные признаки фонемы [30, с. 80], которые Бенвенист предлагал назвать меризмами [2, с. 131]. Таким образом, с одной стороны, речь, взятая в плане текста, может быть расчленена на составные элементы – слова, предложения, с другой же стороны, речь, взятая в плане значения или смысла, оказывается неким целым, расчленение которого

проблематично. Нас будет интересовать прежде всего вторая сторона, т. е. заключенный в речи смысл.

Французский структурализм, открыто следуя по стопам «Морфологии волшебной сказки» В. Я. Проппа, создал несколько техник расчленения и структурирования повествовательного целого, взятого в плане заключенного в нем смысла. Р. Барт, Ц. Тодоров, К. Бремон и целый ряд других исследователей проделали в отношении расчленения на части смысла как целого (в основном на материале художественной литературы) колоссальную работу [1; 24; 25; 38; 32; 33; 34; 35]. Здесь у нас нет возможности представить результаты этой работы даже бегло, отметим только, что общая задача, выдвигаемая структуралистами в данной области, предполагала переход от структурирования определенного нарративного жанра (например, волшебной сказки, как это было у Проппа) к формализации любой нарративности вообще, «выделении универсалий нарративности» [7, с. 478–479] и созданию общей семиотики повествовательных текстов. К сожалению, использовать этот значительный материал мы не можем. Структуралисты почти совсем не работали со смыслом – они работали с текстом (точнее – с дискурсом), исследуя те его составляющие, которые и создавали в конечном счете смысл. Нас же будет интересовать не столько сам смысл, сколько его отношение к скрытому за ним миру. Мир этот не следует понимать в плане «объективной реальности», внешнего мира, что неизбежно возвратит нас к проблеме референции. Мир этот надо понимать скорее феноменологически, а еще точнее – архаично, когда субъект и объект еще не расчленены, мир этот можно мыслить только как абсолютно все, еще не расчлененное и лишенное возможности такого расчленения. Если это можно назвать *Единым*, то Единым в парменидовском смысле, когда «мыслить и быть одно и то же»² [28, с. 287].

Вполне естественно будет усомниться в существовании подобного Мира, но только с позиции категориального анализа. Мы же будем Миром называть просто все существующее, взятое как целое, – в существовании такого Мира усомниться нельзя, хоть и непросто указать его онтологический статус, так как подобное указание уже будет выделением некой стороны, то есть расчленением, разрушением целого. В «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна «Мир» (*die Welt*) рассматривают как основополагающее понятие его онтологии [9, с. 495; 10, с. 80; 36, с. 32; 37], но «Мир» Витгенштейна конкретизирован – «Мир есть все, что происходит» (1), «это факты в логическом пространстве» (1.13), «действительность во всем ее обхвате» (2.063), «целокупность существующих со-бытий (*Sachverhalte*)» (2.04). Мы же будем придерживаться иной точки зрения – любое указание на то, что же такое мир, любое членораздельное высказывание о мире (в том числе и это)

уже будет выделением в Мире (из Мира) некоего смысла. Мир в этом случае будет утрачен, но возникнет *картина мира*. Смысл и есть всегда такая картина мира. Это действительно, как говорил Витгенштейн, проекция, но, как и любая проекция, она никогда не может быть адекватна проецируемому.

«Грамофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны – все они находятся между собой в таком же внутреннем отношении отображения, какое существует между языком и миром. Все они имеют общий логический строй» (4.014) [9, с. 19]. Возможно, это действительно так для мира «Логико-философского трактата», мира, построенного на логическом пространстве, но это не будет верно для Мира. Это проступает особенно явно из второй части данного афоризма: «Как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях. Все они в определенном смысле одно». Но когда юноши погибают, неизбежно погибают и их кони, увядают лилии. С уничтожением же грамофонной пластинки не может исчезнуть нотная запись. Здесь необходимо магическое понимание мира как единого нерасчлененного целого [15, с. 534; 16, с. 56–57], или установление некоей неразрывной связи, как между Дорианом и портретом, иначе это просто подобия по определенному кодирующему признаку. Код – необходимость перевода одного в другое, но он не условие возможности подобного перевода. Код можно найти, если знать, к какой сфере (проекции) необходимо отнести данный «текстуальный объект». Но нельзя догадаться о соотношении музыки и грамофонной пластинки (разве что случайно), если этого не знать заранее, как нельзя догадаться о том, как выглядит королевская печать по ее оттиску, хотя при этом вполне можно использовать ее для колки орехов.

При таком взгляде на Мир «смыслом» (как и значением – в терминологии Фреге [29]) оказывается всегда определенная интерпретация Мира, осуществляемая мышлением и языком. Поскольку, как уже говорилось, разделить мышление и язык оказывается затруднительно, то следует прежде всего задаться вопросом, чем вызвана необходимость взаимодействия с Миром только посредством *картины мира*, то есть интерпретации. Кант, как известно, полагал, что такою причиною служит сама природа человека как познающего субъекта [14, с. 223]. Но Кант, стремясь оставаться в своем анализе предельно строгим, двигался в обратном направлении – от познания в его уже осуществленных формах к познанию как процессу. Кант, по сути дела, начинал с анализа понятий и суждений и процесс познания у него был выводим из тех черт, которые им присущи. Иначе подходил к этой проблеме Бергсон: у него расчленение внутреннего мира человека на понятия оказывалось вторичным и искусственным действием, порождавшим даже некое другое «Я». «Как только мы пытаемся отдать себе отчет в состоянии сознания,

анализировать его, – это в высшей степени личное состояние разлагается на безличные, внеположенные элементы, каждый из которых представляет собою родовую идею и выражается словом» [4, с. 121]. И чуть далее: «Мысль несоизмерима со словом» [4, с. 122].

Нам здесь не так важно, придерживаться ли позиции Канта или отдать предпочтение Бергсону, важнее, что кантовская методичность и строгость оказываются преодолены (а Бергсон все время имеет в виду Канта, хотя почти не ссылается на него) при избрании другого исходного пункта рассуждений, иного «материала» анализа. Для Бергсона таким материалом оказывается внутренний мир, непосредственные данные сознания.

Мир в языке необходимо предстает расчлененным – это следует из самой природы языка. Грамматическая структура языка расчленяет окружающий мир [26, с. 190], иначе этот мир не мог бы быть представлен в речи (осуществлении языка) как линейный порядок [23, с. 30–31; 21, с. 70]. Следует ли из этого, что наше представление о мире всецело порождено языком и тем характером членения мира, который присущ его грамматике [26]? Эта теория языковой относительности Сепира-Уорфа неоднократно подвергалась критике с самых разных сторон, и нет возможности здесь обращаться к этому более детально. Отметим лишь, что, с нашей точки зрения, ближе к истине Гуссерль и Бергсон, оба полагавшие, что любое значение оказывается толкованием и зависит от опыта [13, с. 42], что мы членим мир под воздействием нашей телесности и практической деятельности [3, с. 166–204; 17, с. 243]. Важно отметить, что при членении Мира мы никогда и никаким образом не в состоянии ухватить или запечатлеть выделенный элемент таким, каким он существует и действует в Мире. Мы всегда имеем дело с интерпретацией. Сам предмет и его интерпретация (значение) не могут совпадать и требуют различения, о чем говорил Гуссерль [13, с. 22–23]. Бергсон считал эту рациональную традицию порочной и возводил ее к Платону [5, с. 79].

Но одного лишь членения мира и той или иной интерпретации недостаточно для создания *картины мира*. Макет, фотография, грамофонная пластинка, даже аудио- или видеозапись могут предстать как определенные картины мира только при условии их толкования со стороны воспринимающего (адресата, по терминологии Р. Якобсона [31, с. 198]). Но такое толкование всегда основано на установлении неких связей и отношений между элементами предлагаемого сообщения. Якобсон выделял две основных операции речевого поведения: *селекцию* и *комбинацию* [31, с. 204]. Селекция понимается как подыскивание слова и опознавание его в парадигматическом аспекте, который Соссюр называл ассоциативным [22, с. 122], комбинация же – построение предложения (синтагматический аспект). С точки зрения теории коммуникации, этих двух сторон, возможно,

вполне достаточно, но для значения, для семантического аспекта надо отметить еще один момент. Чрезвычайно существенным оказывается установление связей между элементами речи. Именно эти связи и наделяют некоторый набор объектов способностью служить картиной или подобием мира. Только тогда, когда все элементы речи благодаря грамматике, синтаксису, интонации и проч. оказываются тесно взаимосвязаны, когда они предстают как единое целое, только тогда они оказываются *картиной мира*. Это как бы особое связующее измерение языка можно было бы назвать *симферическим* (от греч. *συνφέρω* – соединять воедино, сходиться) и именно это измерение и оказывается при ближайшем рассмотрении «условием возможности» построения картины мира. Когда мы подбираем эпитет или ищем более точную формулировку мы никогда не ограничиваемся одним элементом – словом, но всегда мыслим синтагмой.

Это симферическое измерение языка не представляет собой чего-либо принципиально нового для лингвистики. Хотя синтаксис, грамматика и морфология обычно рассматриваются в отдельности, но существование между ними тесной связи хорошо известно. Классификации языков как фузионных (флективных) и агглюкативных, изолирующих (аналитических) и инкорпорирующих (синтетических) по сути и выражают во многом именно эту сторону языка. Что касается взаимосвязи грамматики и синтаксиса, то давно известна обратная зависимость – чем слабее формы приспособляемости одного слова к другому посредством словоформ (флексий и др.), тем жестче порядок слов [23, с. 33]. Можно предположить, что степень взаимной обусловленности элементов речи составляет некую неизменную величину для любого языка.

Чрезвычайно важно также, что эти связи оказываются не просто формой упорядочивания элементов в синтагмы, а до определенной степени задают иерархию связей самой действительности. Белый конь, *cheval blanc*, *white horse* – не просто разные выражения одного и того же, это разные формы упорядоченности и выстроенности. Не случайно, тот же Теньер различает в различном порядке существительного и прилагательного нисходящий (центробежный) и восходящий (центростремительный) порядок, но следует отметить, что и флективное уподобление прилагательного существительному в русском языке также играет немалую роль при восприятии. Дикость словосочетания *белая конь* не только в непривычном звучании и явной грамматической ошибке, но и в ощущении, что подчиненный признак взбунтовался против господствующего над ним существительного-сущности, но при этом самостоятельной сущностью не стал, а как бы «ищет себе другого хозяина».

По сути, можно сделать вывод, что подобный род симферических связей во многом и определяет возможность построения картины мира. Именно с точки зрения этого симферического измерения вопросы,

поднятые теорией лингвистической относительности, по нашему мнению, и должны быть рассмотрены. Именно поэтому Мир и предстает прежде всего как целостность, так как для любой картины мира необходимо наличие стройной системы связей. Но эта система связей всегда все же предстает пусть и как весьма значительная, но все же вполне конкретная в каждом конкретном речевом фрагменте и исчисляемая. Мир же всегда значительно будет превосходить свою картину в этом отношении, даже если принять допущение, что и количество связей Мира в принципе исчислимо, хотя и чрезвычайно велико. Можно прийти к заключению, что картина мира, которая была бы адекватна миру и, следовательно, объективно истинна, невозможна, истинность всегда будет оставаться в этом смысле измерением исторической человеческой практики.

Примечания

¹ Существует вполне обоснованное мнение, что мышление вне языка невозможно или, как минимум, лишено какой бы то ни было определенности. Особенно настаивают на этом лингвисты [22, с. 109; 20, с. 37, 227; 2, с. 27].

² Эту фразу толкуют различным образом, я же беру один, сугубо внешний аспект – когда все «одно и то же» просто потому, что ничего другого нет.

1. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. – С. 114–163.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974.
3. Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х тт. – Т. 1. – М., 1992. – С. 160–316.
4. Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х тт. – Т. 1. – М., 1992. – С. 50–155.
5. Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1998.
6. Борхес Х. Л. Переводчики «тысячи и одной ночи» // Борхес Х. Л. Соч. в 3-х тт. – Т. 1. – М., 1997. – С. 210–231.
7. Бремон К. Структурное изучение повествовательных текстов после В. Проппа // Семиотика. – М., 2001. – С. 472–479.
8. Бюлер К. Теория языка. – М., 1993.
9. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. – М., 1994.
10. Вригт Г. Ф. фон. Логико-философские исследования. – М., 1986.
11. Герхардт М. Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». – М., 1984.
12. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.
13. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Исс. I, §§ 15–16 // Логос. – М., 1997. – № 10. – С. 5–64.
14. Кант И. Соч. в 6-ти тт. – Т. 3. – М., 1964.
15. Кассирер Э. Опыт о человеке // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998. – С. 440–722.
16. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. – М., 1996.
17. Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. – Т. 1. – М., 1990.
18. Пирс Ч. С. Избр. соч. в 2-х тт. – Т. 2. – СПб., 2000.

19. Поппер К. Логика и рост научного знания.– М., 1983.
20. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.– М., 1993.
21. Стросон П. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII.– М., 1982.– С. 55–86.
22. Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики.– М., 1998.
23. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса.– М., 1988.
24. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против».– М., 1975.– С. 37–113.
25. Тодоров Ц. Теории символа.– М., 1998.
26. Уорф Б. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. I.– М., 1960.– С. 183–198.
27. Новое в лингвистике. Вып. I.– М., 1960.– С. 135–198.
28. Фрагменты ранних греческих философов.– М., 1989.
29. Фреге Г. О смысле и значении // Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сб. трудов. – М., 2000.– С. 230–246.
30. Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избранные работы.– М., 1985.– С. 30–91.
31. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против».– М., 1975.– С. 193–230.
32. Bremond C. Logique du récit. Paris, 1973.
33. Dundes A. The Morphology of North American Indian Folktales. Helsinki, 1964.
34. Greimas A. J. Sémantique structurale. Paris, 1966.
35. Greimas A. J. Du Sens. Paris, 1970.
36. Keyt D. Wittgenstein's notion of an object // Eseys on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966.
37. Maslow A. A. Study on Wittgenstein's Tractatus. Berkeley, 1961.
38. Todorov T. Poétique de la prose. Paris. 1971.